

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### Глава 16

#### ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ... (продолжение)

Кожинов периодически встречался в это время с Дмитрием Голубковым, и Голубков записывал впечатления от этих встреч в свой дневник.

“... Вчера – В. Кожин с женой. Граммофон (Панина и Вяльцева), интересный (4-х часовой) его монолог о М. М. Бахтине – его работы о Достоевском и Рабле – и его брате (филологе, белом полковнике)... Кожинов проламывался к Федину (у того – комплекс вины: в 37 году он “не узнал” вернувшегося из ссылки Бахтина); по телефону обманывал секретаршу, называясь немецким писателем; в Переделкине, разогнавшись на велосипеде, мимо свирепого пса выскакивал прямо на веранду и т. д. ...”

“Каждый вечер ухожу из дому... Вадим Кожин (мил и дорог; но пьёт непрерывно)... Не сойти бы с ума...”

“Были: Ром(ан) Минна с женой, Кожин (гитара; мало пьющий Вадим; на вопрос Ю. Казакова: “Ивана Алексеевича не люблю: он написал литературный донос на всю Россию – “Деревню”...”

“Премия Солженицына; толки о его женитьбе на молодой женщине (“Это несколько портит его образ” – Кожин)...”

(О новом браке Солженицына тогда ходило много разговоров, в том числе и самых резких. Подруга Бахтина по Невельскому кружку Мария Вениаминовна Юдина явно не одобряла выбор писателя: “Она человек крайне плохой... Дрянная баба, авантюристка, довольно одарённая в своих авантюрах... Есть люди высоко порядочные, а есть сорт женщин, которые ловят. И вот словила...”)

Сам же Голубков ездил в Переделкино к Бахтину. И так же оставил записи об этом посещении.

“В воскресенье (позавчера) – в Переделкине у Бахтина. Очень плох; оброс, худ; нездорово смугл – осмоленный рябчик с головкой, падающей с мёртвой, мягкой шеи. Глаза тёмные, с мёртвым блеском кофейного зерна. Привёз ему подснежников – очень растрогался; всовывал в стакан; Галина Тимофеевна (толстуха-служанка) кое-как с ними управилась...”

Он: – Я знал Сирина. Читал его “Дар”. Очень занятно: приём, форма. Но много игры и, к сожалению, ощущается пустота (медленно говорит и как бы извиняясь). – И многое устарело – остроты, приёмы... Жалко ужасно, если

всё это искусство, талантливость так расплывётся... А я думал, он давно умер...

— Бунин? Я его люблю, конечно. Но не так, как (скупой жест правой рукой — дескать, не до звёзд).

— Я орловец. Спасское-Лутовиново хорошо знаю — я там по соседству в 16-м году у дяди в имении жил...

Худой, смуглый; скуластое татарское лицо, бегущий быстрый череп с отбёжавшим назад лбом (кондотьер Донателло). Глаза красновато-карие, усмешливые, глубокие. Голос медленный, сиплый, густой. Подбородок в серой щетине; всегда в пальцах левой руки (маленьких, белых) сигарета...

В 1971 году умерла супруга Бахтина Елена Александровна. «Михаил Михайлович... в течение суток стал другим человеком, — рассказывал Кожинов. — Он стал совсем маленьким, совершенно жалким... Так в нём поразила какая-то монументальность, а смерть жены разрушила его совершенно. Он даже потом рассказал, что вообще собирался умереть, но в последний момент передумал. Кстати, он не раз повторял: «Смерть наступает тогда, когда есть сигнал из какого-то высшего духовного центра человека... Только тогда человек умирает... Во время болезни, он говорил: есть приказ, отдаваемый вот этим внутренним центром, — жить дальше или умереть... И когда он остался один, то категорически отказывался у кого-либо поселиться... Я приглашал его посылиться у себя, но он сразу отклонил все разговоры об этом. И тогда мы устроили Михаила Михайловича в переделкинский Дом творчества. Он ещё не состоял в то время в Союзе писателей... Только потом, после долгих уговоров он туда вступил... Между прочим, столь же категорично Бахтин отказался от звания профессора. И когда я спросил: «Михаил Михайлович, почему Вы так пренебрегаете этим?..» — он ответил: «Понимаете, философ должен быть никем, потому что если он становится кем-то, то он начинает приспособлять свою философию к своей должности». Он сказал это несколько шуточно, но в тех словах была своя логика и свой смысл...»

Кожинов в это время добивался московской прописки для Бахтина и устройства его в писательский кооператив на Красноармейской улице (кто-то из очередных эмигрантов отчалил за рубеж, освободив двухкомнатную квартиру). Вадим Валерианович написал письмо в Отдел социального обеспечения Исполкома Моссовета.

«В настоящее время остро стоит вопрос об устройстве быта известного советского литературоведа Михаила Михайловича Бахтина. Общее состояние здоровья и инвалидность дают ему полное право на постоянное медицинское и бытовое обеспечение. Но дело не только в этом.

М. М. Бахтин — выдающийся учёный, который, несмотря на преклонный возраст, продолжает плодотворно работать, внося очень заметный вклад в нашу культуру.

Уже первая книга М. М. Бахтина, изданная 40 лет назад, в 1929 году, вызвала широкий отклик у советской общественности. Тогдашний Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский счёл нужным опубликовать большую статью о книге М. М. Бахтина, в которой высоко оценил работу учёного... Две книги М. М. Бахтина, вышедшие в последние годы, — «Проблемы поэтики Достоевского» (Москва, 1963) и «Творчество Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (Москва, 1965) получили поистине всеобщее признание.

О книге, посвящённой Достоевскому, профессор Б. И. Бурсов говорит: «Это одна из самых блистательных книг в громадной «литературе о Достоевском» (журнал «Вопросы литературы». 1964. № 7. С. 72). Лауреат Ленинской премии писатель К. А. Федин и лауреат Государственной премии профессор В. В. Виноградов писали, что труд М. М. Бахтина о Рабле имеет «первостепенное научное и культурное значение... Его издание является настоящим торжеством нашей науки о литературе и, без сомнения, вызовет самый живой отклик на родине Рабле и в других странах» («Литературная газета» от 23 июня 1962 года. С. 4.).

Вскоре после выхода книги о Рабле она была отмечена в газете «Правда» как одно из достижений советской литературной науки («Правда» от 29 апреля 1966 года. С. 3).

Оценивая деятельность М. М. Бахтина, еженедельная московская газета «Неделя» писала в одном из недавних номеров, что работы этого учёного

“вызвали жгучий интерес не только у его советских, но и у многих зарубежных коллег” (“Неделя”. 1970. № 16. С. 19)...

Представив этот “послужной список”, Кожин настоятельно просил чиновных товарищей решить вопрос с поселением Бахтина в Москве. И его обращение было услышано.

К этому времени “Проблемы поэтики Достоевского” вышли семью изданиями на разных языках, так что с деньгами на кооперативную квартиру проблем не возникало.

Месяц Бахтин прожил в Переделкине. С помощью Кожина и других заботников ему продлили срок ещё на месяц. Начали договариваться о третьем — и тут дирекция взбунтовалась. Формально не член Союза вообще не мог там находиться. Последовала жалоба директору Литфонда, который повелел выселить Бахтина из Дома творчества.

Кожин в очередной раз продемонстрировал весь свой энергетический запал. Он явился к оргсекретарю Московской писательской организации бывшему чекисту Виктору Ильину и завёл с ним прямой разговор.

Поначалу Ильин отнекивался: “Ну, слушайте, нельзя же, он не член Союза писателей...” Тогда Кожин вытащил главный козырь.

Это был журнал “Известия Академии наук. Отделение языка и литературы” со статьёй “Вопросы поэтики и теории романа в работах М. М. Бахтина” за подписями В. Жирмунского, Б. Мейлаха и Г. Фридлендера.

— Вот видите, только что появилась статья О ТРУДАХ БАХТИНА. Вот, обратите внимание, после товарища Сталина ни о ком так не писали... Вы теперь понимаете, кто такой Бахтин? Это тут три академика о его трудах размышляют...

(Академиком среди них был только Виктор Максимович Жирмунский).

Ильина словно подменили. Он тут же приказал секретарше соединить его с директором Литфонда.

Кожин сидел рядом и слушал этот занимательный диалог (в телефонной трубке было слышно каждое слово):

— Там... это самое... Бахтин у тебя...

— Да-да! Это безобразие! Как можно!..

— Послушай меня, послушай!.. Бахтина не трогать! Пускай живёт в Доме творчества, сколько ему нужно...

— Как же так?! Ведь он...

— Ты что, русского языка не понимаешь?!

Трубка брякнулась на аппарат.

“Я всем сердцем радел за Михаила Михайловича и очень хотел ему помочь, — рассказывал Кожин, — я становился гораздо умнее и изворотливее, чем являлся на самом деле. Если бы я пёкся о своём, то мне ничего такого никогда не пришлось бы в голову...”

Восемь месяцев жил Бахтин в Переделкине, пока длилась подготовка квартиры.

А незадолго до этого произошла весьма драматичная история.

В 1968 году Кожин познакомился в Нижнем Новгороде с ассистентом кафедры русской литературы Нижегородского университета Владимиром Фёдоровым. Вадим Валерианович получил приглашение читать курс лекций по теории литературы, и Фёдорова приставили к нему в роли “маленького Вергилия”, как потом вспоминал он сам. “Вергилием” студент пробыл не более двух дней — далее сам Кожин стал показывать неведомые молодому знакомому достопримечательности Нижнего.

И лектор Кожин был непохож на обычного лектора.

“Он обыкновенно садился за стол, наливал стакан воды и, время от времени прихлёбывая, рассказывал о предмете так, словно разглядывал его со всех сторон. “Домашний” тон первое время сбивал аудиторию с толку, казался слишком личным, но потом мы сообразили: Кожин говорил о “своём” со “своими”. Это приближало обсуждаемую таким образом проблему к каждому, возбуждало личное любопытство, которое потом переходило в устойчивый интерес. Так произошло, по крайней мере, со мной: я мыслил себя историком русской литературы, а стал теоретиком”.

Фёдоров стал расспрашивать о Бахтине, и Кожинов тут же пообещал познакомить неопита со своим учителем. Вскоре они отправились в Саранск, и всю дорогу Кожинов рассказывал детективную историю пробытия книги Бахтина в печать. Потом, внимательно следя за фёдоровскими работами, он не сдерживал радости, видя, как молодой филолог “исходит из самого фундамента, из “корней” бахтинского творчества и предстаёт поэтому в качестве не иждивенца, а соратника, сороботника”.

В это время в Саранске готовился сборник статей в честь 75-летия Михаила Михайловича, ответственным редактором которого был ещё один нижегородец Сергей Конкин, доцент Мордовского университета. Он же стал соавтором Кожинова в написании очерка о жизни и творчестве Бахтина до 1945 года (ему принадлежала вторая часть этой работы). Бахтин, прочтя кожиновский текст, горячо одобрил его. В этот же сборник Кожинов передал и статью Владимира Фёдорова.

А дальше произошло следующее: в университете образовался кружок из студентов и преподавателей, увлечённых “самиздатом”. Некоторые члены этого “исторического кружка” разбрасывали и расклеивали листовки, в которых требовали “демократических свобод” и призывали “следовать чешскому примеру”, а также обсуждали написанную коллективно работу “Социализм и государство”.

Одним из участников этого “действия” был самый одарённый студент историко-филологического факультета поэт Владимир Жильцов. Вместе с другими “подельниками” он был арестован и после месячного судебного разбирательства, не признав за собой никакой вины, получил 4 года по 70-й статье. Через много лет он кратко рассказал мне эту историю, не выпячивая своей роли и, как мне показалось, с лёгким сожалением о своём молодом сумасбродстве.

Жильцов было близким знакомым Фёдорова — и того привлекли в качестве свидетеля, но “свидетельствовать” Владимир категорически отказался. В результате он был уволен из университета с запретом на несколько лет права преподавательской работы (при этом никакого запрета на публикации не последовало).

“Я проходил свидетелем по делу политического свободомыслия студентов историко-филологического факультета. — вспоминал сам пострадавший. — По адресу университета было вынесено частное определение суда, на основании которого меня и уволили”.

“Стремясь спасти талантливого филолога, — это уже воспоминания Кожинова, — я договорился сначала со знакомыми преподавателями Липецкого педагогического института Е. И. Барышниковым и С. Т. Вайманом, и Фёдорова приняли на работу в институтскую библиотеку; затем другой мой знакомый М. М. Гиршман устроил его преподавать на так называемых подготовительных курсах в Донецкий университет и, наконец, при поддержке сотрудников Института мировой литературы и — одновременно — “профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС” А. С. Мясникова (сохранявшего, несмотря на свою карьеру, совестливость) удалось вернуть Фёдорова на полноценную преподавательскую работу — сначала в Кемерове, и затем — уж окончательно — в Донецком университете”.

Но всё это будет потом. А тогда Конкин, узнав об изгнании Фёдорова, тут же выбросил его статью из готовящегося сборника. Кожинов был в ярости. Он справедливо полагал, что Конкин попросту “перестраховался”, а, по сути, “литературовед, знающий судьбу Михаила Михайловича и лезущий к нему в “друзья”, поступил, в сущности, хуже, чем пособники гонений 1920–1930-х годов”, которым, действительно, в случае заступничества грозила серьёзная опасность (видимо, к этому времени Кожинов, помимо всего прочего, был в курсе того, как Конкин исподволь пытался “оттереть” от контактов с Михаилом Михайловичем его верных саранских помощников — супругов А. М. и Н. Г. Кукановых, краеведа И. Д. Воронина, мордовского поэта Серафима Вечканова, фольклориста Кирилла Самородова). Кожинов высказал негодую в глаза всё, что о нём думал, и отказался от какой-либо работы над сборником в дальнейшем (одобренную Бахтиным свою статью, правда, изымать из него не стал). Понятно, что Конкин затаил злобу, и на протяжении последующих лет не устал сначала устно, а потом и письменно клеветать на Вадима Валериановича и его московских друзей, принявших деятельное участие в судьбе Бахтина.

В Москве кипела своя жизнь. Поэты работали, выпускали книги, бражничали, проводили время в долгих беседах. Одна из животрепещущих тем разговоров — отказ немногих (но громких) от родины, стремление выехать из России в “цивилизованную Европу” или в ещё более “цивилизованную Америку”, а то и в “землю обетованную”, то бишь в Израиль. Отряхавшие пыль родины с каблучков ничтоже сумняшеся сравнивали себя то с Гоголем, то с Тургеневым, то с Герценом, намеренно подменяя суть жизни за границей прошлого века и современной эмиграции.

Евреи, стремившиеся на “историческую родину”, не нуждались, как они считали, ни в каких “прикрытиях”. Они открыто заявляли, что СССР, на земле которого они родились и прожили большую часть своей жизни — не их страна (массовые заявления на выезд последовали синхронно с объявлением Голдой Меир “тотального похода” мирового сионизма против Советского Союза). Иные писатели, убеждённые в том, что только “там” они смогут посвящать свои произведения излюбленной “еврейской теме”, не скрывали своего презрения в отношении бывших коллег. На одном из таких “разбирательств” дела отъезжавших Зиновия Телесина и Рахили Баумволь не выдержал даже престарелый Лев Кассиль: “Слушая Вас, — заявил он Телесину, — я сам становлюсь антисемитом!”

Бегство Светланы Аллилуевой, Аркадия Белинкова или куда менее известного Михаила Дёмина громко или полужёпотом обсуждалось на многих писательских кухнях. А друзья “кожиновского кружка” слушали написанное по горячим следам стихотворение Станислава Куняева, стихотворение, расставившее всё по своим местам:

Непонятно, как можно покинуть  
эту землю и эту страну,  
душу вывернуть, память отринуть  
и любовь позабыть, и войну.  
Нет, не то чтобы я образцовый  
гражданин или там патриот —  
просто призрачный сад на Садовой,  
бор сосновый да сумрак лиловый,  
тёмный берег да шрам пустыковый —  
это всё лишь со мною уйдёт.  
Всё, что было отмечено сердцем,  
ни за что не подвластно уму.  
Кто-то скажет: “А Курбский? А Герцен?” —  
всё едино я вас не пойму.  
Я люблю эту кровную участь,  
от которой сжимается грудь.  
Даже здесь бессловесностью мучусь,  
а не то чтобы там где-нибудь.  
Синий холод осеннего неба  
столько раз растворялся в крови —  
не оставил в ней места для гнева —  
лишь для горечи и для любви.

Читал пронзительные стихи молодой, недавно появившийся в “кожиновском кружке” Дмитрий Балашов, только-только начавший составлять свою первую книжку “Гонец”:

Что случилось, приключилось  
В дальней стороне?  
Снилось, снилось, не приснилось —  
Отдалось во мне.

То ли рокот самолёта,  
То ли стук копыт...

Не кукушка ли со счёта  
Сбилась и молчит?

То ли голос на подмогу  
Тщетно призывал,  
То ли месяц на дорогу  
Вышел и пропал,

Или сердцу стало тесно,  
Или вспомнил мать?..  
Слышу родину, как песню,  
Слов не разобрать.

И, конечно, читал новые стихи Передреев, стихи, в которые вторгались всё более и более драматичные ноты:

В саду безмолвья и беды —  
От края и до края —  
Деревьев чёрные ряды,  
Процессия немая.

И в тишине его ветвей,  
Во всей его округе  
Воронье карканье слышней  
И завыванье вьюги.

И где-то там, в глуши времён,  
За стужей железной,  
Он безмятежный видит сон,  
Он слышит шум мятежный.

Там осеняет землю сад  
Таинственную кушей,  
Листвой, летящей наугад,  
Отрадою цветущей.

Он обнимает небосвод,  
Звезду легко колебля...  
И соловей его поёт  
Во мгле великолепя.

Друзья поздравляли Анатолия, говорили о лермонтовских нотах, возрождённых в его поэзии, а он, приветливо улыбаясь, становился всё задумчивее и задумчивее.

В очередной статье “О времени или о себе?” он подверг жестокому разбору стихи своих современников. Писал “о случаях парадоксальных противоречий между усилиями и результатом в некоторых стихах современных поэтов. О том удивительном явлении, когда поэт говорит вроде бы о чём-то очень важным для всех или для многих, а в конечном счёте оказывается, что он озабочен только собой”.

Примером такого самолюбования стало для него стихотворение Евтушенко “Долгие крики”.

“Стихотворение подаётся в двух планах — реалистическом и аллегорическом. В реалистическом плане в пределах пейзажа с избушкой и лошастью герой представляется как диковинный “человек с ружьём”, который во что бы то ни стало хочет кого-нибудь “разбудить”. Но “на том берегу”, очевидно, привыкли к подобным “шалостям”.

Из аллегорического плана, где безответственный охотник легко и непринуждённо превращается в заезжего оратора-пророка, явствует следующее. Оратор-пророк, пытающийся уже не просто разбудить, но и “пробудить”, сознаёт своё бессилие...

Автор постоянно помнит, “кто он”. Обращение к себе как к некоему “оратору-пророку” – это кульминация его “поведения” в стихотворении. Всё же остальное – лишь фон, на котором демонстрируется авторское “я”.

В таких стихах больше жестов, чем смысла, больше голосового напора, чем чувства”.

Передреев не ограничился одним Евтушенко. Он буквально разнёс по кочкам своего товарища по “кожиновскому кружку” Игоря Шкляревского, недавно выпустившего книжку “Фортуна”, получившую весьма благожелательную прессу.

“Кажется, что автор буквально пронесется мимо читателя... “выпаливая” в него свои беглые наблюдения, собранные вместе не по принципу творческого осмысления, а по принципу пресловутого “напора”.

Но строчки рассыпаются, как горох, художественная мысль не двигается с места...

Шкляревский, на мой взгляд, обладает способностью личного живого восприятия жизни. Но это восприятие подавлено в данном случае желанием не столько писать, сколько “шуровать” стихи...”

Сказать, что Передреев был до конца справедлив, нельзя. В “Фортуне” было немало стихотворений удивительно свежих, проникнутых ощущением очарования природой, быстротекущего времени – и многое запоминалось и откладывалось в душе... Но по большому счёту Анатолия Константиновича тревожила та тенденция, преобладающая в современной поэзии, о которой он сказал в самом начале.

“Когда поэты поддаются своеобразному “гипнозу позы”, они становятся похожими друг на друга при всех, казалось бы, броских внешних различиях”.

И здесь, действительно, уже трудно было отличить Евтушенко от Шкляревского, Шкляревского – от Фирсова, который “опирается на “края отцов”, на “Россию” всего лишь навсего в отчаянии перед анонимными письмами по своему адресу”, а Фирсова – от Александра Богучарова.

“В наше время, – заключал Передреев, – когда так модна всяческая “разорванность”, понятие “гармония” зачастую воспринимается не как “равновесие диких сил”, а как нечто уютное и добропорядочное... По нашему же глубокому убеждению, ни “словарь забытых слов”, ни “словарь современных слов” сами по себе никакого стихотворения не могут “явить”. Ход может быть дан, и, вероятно, надолго, только таким стихам, где вместо “поз” – старомодных или ультрасовременных – будет глубокое художественное осмысление современной действительности нашего времени во всей его полноте и значительности”.

Сверхзадача для любой поэтической эпохи. Но без этой сверхзадачи и нет поэзии. И тяжесть её сам Передреев осознавал во всей полноте и сущности, когда брался за перо:

Пускай закружат времена  
своею музыкою дикой,  
но позабытая весна  
лица коснётся паутиной!

И снова вспомнишь тишину  
и край родной... И даль... И дымку.  
И лучезарную одну,  
сквозь ночь летящую косынку.

И ту неясную печаль,  
и эту радость без названья,  
и станет непомерно жаль  
окна далёкого мерцанья...

Встаёт луна из темноты,  
поёт невидимая птица,  
и так поёт она, что ты  
не можешь в мире заблудиться.

... Он продолжал жить на два города – в Москве и Грозном, откуда время от времени писал друзьям ироничные письма, в которых делился своими мыслями о друзьях, об их стихах и в которых время от времени прочитывалась его далеко не счастливая семейная жизнь.

Письмо Станиславу Куняеву из Грозного:

“Стасик, дорогой!

Только что вернулся из Баку и обнаружил твои телеграмму и письмо.

Жалко, что ничего не могу послать тебе для “Дня поэзии”, тем более, что это единственная богатая лавочка.

Стих есть, но в набросках. Одни существительные. Письмо твоё мрачно. Жаль Соколова. Хотя он сделал всё, чтобы слово “жаль” приобрело чисто пчелиное значение. Выбери подходящий момент и обними его за меня. И Вадима, конечно.

Неужели Шкляра никогда не пойдёт дальше строчки Бальмонта: “Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать”?

В Баку жил долго, переводил.

Окончательно убедился, что “Персидские мотивы” – вовсе не результат вдохновения Есенина. Просто, наверное, на него надели по пьянке чадру, и он написал всё это под её покровом. А в общем, “изжил себя эпистолярный жанр...”

22.4.68 г.”

Куняев категорически не соглашался с резкостью Передреева в отношении Шкляревского, но тот стоял на своём.

Письмо Вадиму и Елене Кожиновым из Грозного:

“Вадим и Лена!

Милые друзья!

Не помню, как мы расстались, но доехал я еле-еле. Оголтелое нац. меньшинство сотрясало вагоны. Нет ничего отвратительнее скопища пьяных горных орлов. В ресторане я каким-то чудом спасся от нескольких клювов. Доехал под охраной пограничной овчарки из соседнего купе.

Леночка кинулась мне на шею и два дня не показывала мне шиш. Шема тоже. Сейчас всё потихоньку становится на своё место.

Сейчас здесь солнечно, хотя пыльно и грязно – долго шли дожди. Показываются (в моём окне) горы, не имеющие ничего общего с равниной. Магомет (Мамакаев. – С. К.) отложил своё юбилейное безобразие на декабрь. Но это не мешает вам приехать. Горы стоят неколебимо, по склонам их бродят бараны – будущие шашлыки.

Пишите, что нового в Москве, т. е. – в “Жигулях”, в ЦДЛ, в ЦДЖ?

Обнимаю.

Ваш Толя.

Осень 1970”.

А 26 января 1971 года он пишет письмо Софье Гладышевой:

“Милая Соня!

Как пелось в одной блатной советской песне: “Тишина немая, только ветер воеет...” Даже мой проигрыватель замолчал. Думаю, надорвался на Шаляпине. Впрочем, и к лучшему, а то у меня с утра до вечера в башке гудели “брызги шампанского”.

Шема по-прежнему сходит с ума и делает всё возможное, чтобы я не работал. Между нами говоря, мне-то и не очень хочется.

Соня, Соня, пока я писал тебе, принесли газету. Умер Коля Рубцов.

Пиши мне, ради бога.

Целую, твой Толя”.

\* \* \*

Больше всего Кожинов любил читать вслух одно из поздних стихотворений Рубцова:

Скачет ли свадьба в глуши потрясённого бора,  
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды  
Где-то послышится пение детского хора, —  
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!





Потом на суде она заявляла, что Рубцов унижал её как поэтессу (!), когда заставлял убирать в квартире, помыть посуду, в общем, наладить бытовые условия. . . Мало того, она делала всё, чтобы отвести от него “верных друзей и чутких соратников по литературе”, явно намереваясь взять поэта в свою полную власть, при этом намеренно играла на его ревности и наконец. . .

И наконец произошла трагедия.

Как человек, Рубцов, конечно, не был ангелом. Им время от времени овладевали вспышки лютого гнева, так же быстро и заканчивавшиеся. Ничего страшного по отношению к человеку при всём том он сделать не мог (во всевозможных скандалах и драках он всегда был первым пострадавшим). Здесь им, скорее всего, овладела ярость при мысли, что он связывает свою жизнь с человеком, который, возможно, оставит вокруг него выжженное пространство. Уже многое накопилось внутри — и прорвалось.

Когда убийца красочно расписывала на суде (и после), как он над ней издевался, как бросал в неё зажжённые спички — почему-то никто не задал вопроса: “Что же вы, любезная, не встали и не ушли?”

Она не ушла. Она продолжала сидеть, вскармливая в себе чудовищную злобу. Она задушила поэта. Задушила зверски. Потом (если ей верить!) хладнокровно подмела пол и отправилась в милицию.

А потом товарки по колонии (и некоторые люди после окончания её срока) слышали от неё буквально следующее:

*“Я бы его ещё раз убила. Вся жизнь мне сломал. Пьяница, никчёмный человек. Видете ли, поэт. . . учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за меня вступятся, и за границу тоже знают. Вспомнят ещё Д!”*

“По сравнению со мной в поэзии Рубцов был мальчишкой!”

Выйдя на свободу, она написала письма Станиславу Куняеву, Анатолию Передрею и Анатолию Жигулину, стараясь оправдаться. Те ей не ответили, попросту решили не замечать. Позвонила по домашнему телефону Кожинову. Тот ей лаконично отчеканил:

— Вы убили не просто моего друга. Вы убили гениального поэта. И разговаривать мне с вами не о чем.

Особенно тяжело, судя по всему, переживал про себя случившееся Передрев, судя по стихотворению, которое вылилось у него после трагедии:

Ночью слышатся колёса,  
Длится гул земли,  
Это где-то вдоль откоса,  
В русле колеи.

Ночью отсветы-пожары  
Мечутся в окне,  
Это город гонит фары  
Где-то в стороне.

Это всё во мраке тонет,  
Глохнет за стеной.  
Ночью слышно: ветер стонет...  
Это — надо мной.

Написал — и замолчал на несколько лет. Фактически, до конца 70-х годов. Всё это время он жил переводами с национальных языков.

“Передрев переставал писать стихи, — писала близко знавшая его Елена Владимировна Ермилова, — когда угасал дух, слабел лирический напор. . . Он был мастер, профессионал, он умел писать стихи, ему ничего не стоило создать более или менее удачную лирическую конструкцию, но ему это было неинтересно и скучно”.

. . . Потери в эти годы следовали одна за другой. Через полтора года утонул в Байкале Александр Вампилов — ещё один близкий друг Анатолия. Ещё через два года трагически погиб от пули инкассатора (“действовавшего по инструкции”) один из талантливейших художников современности Виктор Попков, о картинах которого проникновенно писал Михаил Лобанов. И в том же году на

съёмках фильма “Они сражались на Родину” скоропостижно скончался Василий Шукшин.

Что-то поворачивалось в самом времени, изменялся его воздух, постепенно, как вспоминал сам Кожин, стал распадаться и их “кружок”, хотя какое-то время он ещё держался, привлекая к себе новых людей.

Ироничный, шуточный, но и в определённых чертах точный портрет “кружка” запечатлел поэт Олег Дмитриев в стихотворном экспромте “Литературный салон у Кожина”:

Сошлись. Всё — светочи, предтечи...  
Здесь льются пламенные речи  
И струи красного вина,  
Здесь слышен звук высокой лиры,  
Здесь низвергаются кумиры,  
Здесь создаются имена.

Здесь с выражением брезгливым  
Сам Кожин дымит над пивом  
И думает: “Напрасный труд...” —  
Но слушает благоговейно,  
Как Соколов, хлебнув портвейна,  
Читает свой последний труд.

На прочих, как на разгильдяев,  
Взирает Станислав Куняев.  
Чеканно речь его звучит —  
Он говорит между глотками:  
“Добро должно быть с кулаками!”  
А с чем должно быть зло — молчит.

Настала пауза немая.  
Но тут же, кулаки сжимая,  
Встаёт Шкляревский Игорёк.  
“Ка-ак дам!” — он говорит со смехом,  
Довольный собственным успехом:  
Мысль гениальную изрёк!

Бывает, Битов здесь бывает.  
Его никто не убивает,  
Но бьют, однако же, порой!  
(Но, может быть, от славных бриттов  
Пошла фамилья эта — Битов!)  
Терпи, раз ты такой герой!

Шугаев, эпик из Иркутска,  
Не знает, где ему приткнуться —  
Вконец затуркали, вконец!  
И он от гнева корифея  
Идёт в объятия морфея,  
Пробормотав: “Спаси, отец!”

Но тут, над разговором взревав,  
Блеснёт, как сабля, Передреев,  
Тотчас в руины превратив  
Всё то, что создал светлый гений —  
От соколовских сочинений  
До балашовских инвектив.

(Так поздно вспомнив Балашова —  
Такого Ментора Большого,

Я промах совершил прямой.  
Ну, ладно, Эдик, не ворчите,  
Коль Соколова Вы учитель,  
То, значит, Вы учитель мой...)

Какой восторг в глубинах взора  
Горит у Самченко Егора!  
(Хотя районный психиатр  
В салоне выглядит, пожалуй,  
Почти как деревенский малый,  
Пришедший в оперный театр.)

Над минеральной водою,  
Тряся учёной бородою,  
Безмолвствует Портнягин Эрнст,  
Случайный баловень удачи,  
Он размышляет, чуть не плача:  
“Сижу среди них один как перст!”

Но, чтобы парень не сломался,  
Звучит старинного романса  
Очаровательный куплет,  
И все уходят из салона  
По лестнице — чуть-чуть наклонно —  
В предчувствии Больших Побед.

И наступает перемена:  
Посуду убирает Лена,  
Вадим улёгся на тахте.  
Когда за окнами светает,  
Вадим учеников считает  
И горько думает: — Не те...

На полном серьёзе (как повелось ныне у некоторых литераторов) относиться к этому экспромту, конечно, не приходится. Это, если угодно, дружеский шарж, по экземпляру которого Дмитриев подарил некоторым своим “героям”.

...Пройдёт время — и разойдутся пути Кожинова и с Соколовым, и со Шкляревским. Совершенно враждебными станут отношения с Битовым. Отойдёт от прежнего дружеского круга и прозаик Вячеслав Шугаев, связавший свою жизнь с телеэкраном, который высосет из него все жизненные соки. Егор Самченко, введённый в кружок Шкляревским (на которого Егор всегда смотрел снизу вверх) так и останется восторженным зрителем, не напишет толком ни одного цельного стихотворения и будет запивать свою творческую несостоятельность лошадиными дозами алкоголя. Эрнст Портнягин, геолог, каждый сезон пропадавший в горах Тянь-Шаня (эту прекрасную работу он делил со Станиславом Куняевым, который стал его лучшим другом) выпустит в Москве талантливую книжку “Живая осыпь” и посвятит Вадиму Валериановичу стихотворение, навеянное кожиновским исполнением классических романсов.

## ПЕВЕЦ

*Вадиму Кожинову*

Ты голову к плечу склони, певец,  
отбрось очки одним просторным взмахом,  
открой лицо — с таким же шли на плаху  
и принимали царственный венец.

С такой похмельной чистотой в глазах  
глядели в бездну вечности глухую,

и красоту неяркую такую  
выписывала Русь на образах.

Мы прошлое забыли, как могли,  
страна давно молиться разучилась,  
но песню, как наследственную милость,  
такие вот, как ты, уберегли.

Слова, задуманные на века,  
сплетённые с напевной канителью,  
нам за степною слышатся метелью  
в предсмертном завещанье ямщика.

У русской песни тоже есть конец,  
но вслед за ним всегда опять запевка.  
Так ново всё, что позабыто крепко,  
напомни нам о родине, певец.

К сожалению, прожил Эрнст недолго. Через несколько лет он погиб в горах Тянь-Шаня от шальной пули. Станислав Куняев, будучи в заграничной командировке, узнал о его гибели уже после своего возвращения, после похорон. Из поэтов в последний путь Эрнста проводили Александр Межиров, Анатолий Передреев и Игорь Шкляревский.

Когда Олег Дмитриев писал о Кожинове, “благоговейно” внимавшем стихам Соколова, он нисколько не преувеличивал. После гибели Рубцова Соколов стал в это время наиболее близким поэтом, и сам Соколов, высоко ценивший тогда дружбу с Вадимом Валериановичем, наслаждался общением с ним в многочасовых посиделках.

“Володеньке с любовью”, “Любимому Володе. Дима”, “Володе с любовью до гроба” — так Кожинов надписывал ему свои книги.

Возможно (я лишь предполагаю), гибель Рубцова что-то серьёзное изменила не только в жизни “кружка”, но и в самом Кожинове. Он “переключился” на Соколова, стараясь, видимо, как можно больше сделать для него и сказать о нём при его жизни, тем более, видя, как Соколов периодически растрчивает себя в водочном угаре. Нарастало, видимо, и сожаление о том, что настоящего слова о Рубцове сам Кожинов при жизни поэта сказать не успел, радуясь словам, сказанным друзьями. Рубцов, как он однажды заявил отцу, был для него “всё равно, что Есенин”, но при жизни оставался в его восприятии одним из самых значительных современных поэтов наравне с другими — Передреевым, Соколовым, Куняевым... Тем более, что в отличие от Соколова, Рубцов не сталкивался с откровенно заушательской критикой, требующей немедленной реакции.

Последняя жена Соколова Марианна Роговская вспоминала: “Две святые любви окрыляли и объединяли их души: любовь к поэзии и любовь к России... Эрудиция Кожинова была просто феноменальной, мы иногда наслаждались ею, как особым искусством: звонили Вадиму, задавали ему сложный вопрос: цитату, малоизвестное имя, дату — и он моментально давал исчерпывающий ответ”.

Так, Соколов и Роговская однажды позвонили Кожинову и спросили у него имя автора стихотворения, где были строчки: “Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить...” Кожинов тут же ответил, что это Иван Тхоржевский.

Тогда же Соколов посвятил Вадиму Валериановичу одно из лучших своих стихотворений.

## ДЕВЯТОЕ МАЯ

У сигареты сиреневый пепел.  
С другом я пил, а как будто и не пил.  
Как хорошо на зелёной земле —  
Небо в окне и цветы на столе.

У сигареты сиреневый пепел.  
С братом я пил, а как будто и не пил.  
Пил я Девятого мая с Вадимом,  
Неосторожным и необходимым.

Дима сказал: “Почитай-ка мне стансы,  
А я спою золотые романсы,  
Ведь отстояли Россию и мы,  
Наши заботы и наши умы”.

У сигареты сиреневый пепел.  
С другом я пил, а как будто и не пил.  
...Как вырывались сирени из рук  
У матерей, дочерей и подруг...

Мы вспоминали черты и детали.  
Мы Баратынского долго читали  
И поминали почти между строчек  
Скромную песенку “Синий платочек”.

У сигареты сиреневый пепел.  
Жалко, что третий в тот день с нами не пил.  
Он под Варшавой остался лежать.  
С ним мы и выпили за благодать.

Этими словами “неосторожный и необходимый” Соколов попал, что называется в “яблочко”. Двумя словами он воплотил суть и кожиновского образа жизни, и его значения в жизни общественной – всё это в органическом сочетании с воплощением празднования великой даты, ощущением великой истории, великого поэтического и песенного Слова.

Кожинов тут же переложил эти стихи на мелодию, и этот романс стал постоянным в его репертуаре наравне с передреевским.

Стихотворение “9 Мая” было напечатано в “Дне поэзии” за 1972 год, и тут же в “Новом мире” появилась рецензия на альманах Аллы Марченко (уже ранее “прошедшейся” по книжке Соколова “Трава под снегом”), по тональности очень похожая уже упоминавшуюся огневскую статью. Солидную часть этой рецензии Марченко посвятила разгрому соколовского стихотворения.

Вырвав из контекста отдельные строки, критикесса заявила, что перед нами якобы “ресторанный эпизод”, “лирический ёрш”, “смесь стансов и романсов, разлитая по бутылкам туманного стекла”. Вывод звучал достаточно угрожающе: “...К этой особенности эстетической позиции В. Соколова представляется необходимым присмотреться внимательнее, поскольку она... имеет прямое отношение к литературно-общественной позиции поэта”. Помимо всего прочего, она объявила Соколова “признанным мэтром того направления в нашей поэзии, которое с лёгкой руки Л. Лавлинского стали называть “тихой лирикой”...”

Статья Лавлинского “Тихая лирика” появилась в журнале “Юность” годом ранее, причём Лавлинский даже не упоминал в ней имени Соколова. Он писал о Рубцове, о Передрееве, о Жигулине. И термин избрал крайне неудачный (по контрасту с “громкой”, “эстрадной” поэзией). Сам этот контраст был нелеп изначально, а “приобщение” того же Рубцова к “тихой лирике” вызвало ироническое недоумение Кожинова.

Статья Марченко стала спусковым крючком. Кожинов взялся за серьёзную работу о Соколове, и эта работа была весьма нелёгкой. “Писать о нём трудно, – говорил он, – чтобы написать о поэзии Соколова, надо совершить собственный творческий акт”. И этот акт был им свершён.

“Подлинная поэзия, – писал Кожинов, отвечая самому себе на вопрос: почему лучшие стихотворения Соколова 60-х годов не были услышаны в момент их появления? – обладает чудесным свойством: с течением времени она не только не теряет свою силу и глубину, но, напротив, всё больше их обнаруживает...”

Многие стихотворения Владимира Соколова, которые с внешней точки зрения могут показаться лишёнными конкретных временных черт лирическими

сценками, размышлениями, пейзажами, на самом деле очень точно воплощают суть тех “дней”, когда они были созданы... К середине 1960-х годов в поэзии Владимира Соколова совершилось то, что можно назвать вторым открытием Родины (первое произошло уже в самых ранних стихах), открытием, затрагивающим самые глубины души и имеющим предельно интимный, предельно личностный характер, и в то же время обладающим исторической и социальной широтой взгляда... И это поэтическое открытие так же точно и глубоко выразило смысл времени...

Оно было, в частности, окончательным преодолением известного “разрыва” между возвышенной духовностью и повседневным бытием “простого” человека. При этом Владимир Соколов... выражает реальную, объективную связь, органическое единство того мира, которое называет Родиной, и своё собственное врождённое единство с этим миром...

На протяжении последних пятнадцати лет по руслу популярного стихотворства прошло две волны, первая из которых в конечном счёте мерила всё неопределённым “будущим”, вторая — столь же неопределённым “прошлым”. Волны эти, естественно, столкнулись и на рубеже 1960–1970-х годов как бы взаимно уничтожили друг друга. Но столкновение это вовсе не было бесплодным; в образовавшейся пустоте отчётливо выступили контуры по-настоящему серьёзной поэзии. Именно в это время и обрела, в частности, широкое признание поэзия Владимира Соколова, из которой, как из открытого окна, дохнула на читателей глубина жизни...

Кожин писал о стиле Соколова, главная черта которого — “жизненность, способность к постоянному развитию и плодотворному обновлению, не отменяющему прежнее, а прорастающему на уже сложившейся почве”. Он писал о приметах истории в стихах Соколова, о том, что она “вливается постольку, поскольку жива сейчас, в данный момент”. Он категорически отрицал утверждения о “камерном” характере его поэзии, подчёркивая, что говорящие так “просто не умеют вслушиваться в стих”.

К “не умеющим” он отнёс и Марченко, заявившую, что Соколов делает ставку на “музыку лада”, на “музыкально озвученную словесность”... Он писал — и совершенно справедливо, — что “нужно быть совершенно глухим к жизни стиха, дабы не услышать, что подавляющее большинство произведений Владимира Соколова основано отнюдь не на “напеве”, а на предельно отчётливо разговорной интонации” — и этим его поэтика резко отличается, в частности, от поэтики Александра Межирова. “В основе его поэтики лежат тончайшие оттенки значения слов и их отношений и, с другой стороны, интонационное построение как таковое (а не собственно ритмический напор)”. Что никакого отношения к “тихой лирике” Соколов не имеет, ибо в его поэзии “есть десятки прекрасных стихотворений, написанных для полного голоса, стихотворений, которые естественно будут звучать в самой большой аудитории”. ...А насчёт призыва “присмотреться к литературно общественной позиции поэта” заметил: “По-моему, просто неловко в наши дни подписывать своё имя под такими фразами”.

Он подробно и вдумчиво писал об образе снега, о единстве города и природы в поэзии Соколова, о неповторимом мгновении, в котором (а не в однообразной длительности) “раскрывается наиболее глубокое и вечное”, о том, что в его стихах “основу единства составляют тончайшие внутренние связи между самими словами и их значениями как таковыми”. И “там, где трудности побеждены, возникает ощущение настоящего поэтического чуда, подлинного, живого искусства”.

Тогда же Кожин вступил в уважительную и жёсткую полемику с будущим эмигрантом Владимиром Соловьёвым на страницах “Литературной газеты” о книге избранных стихотворений Анатолия Передреева “Возвращение”, где в ответ на упрёки о “возвращении” поэта “вспять”, о “бесконечной продлённости мгновённого действия”, о том, что “времени в стихах Передреева нет”, повторил свою излюбленную мысль: “Именно *остановленное мгновенье* есть “содержание” лирики, в котором “прошлое страстно глядится в грядущее” (Блок)... Критик, не желая того, на первый план выделил в стихах А. Передреева неотъемлемое свойство истинной лирики... Поэту в высокой степени присуща эта черта: ярче всего “воспоминания”, “возвращения” живут с полной силой в настоящем...”

Статья “Стихи должны быть, как открытое окно...” была опубликована в журнале “Наш современник”. Первая публикация Кожинова в этом издании.

В начале 1970-х годов журнал стал весьма авторитетным, уважаемым изданием, изданием, которое с нетерпением ожидали читатели, о произведениях которого писались солидные статьи. Таким он стал после того, как в 1968 году его возглавил вологжанин, бывший заместитель Анатолия Никонова в “Молодой гвардии” Сергей Васильевич Викулов.

Представляет немалый интерес его монолог, записанный Дмитрием Голубковым ещё до назначения Викулова на пост главного редактора.

“В 17-м у помещиков отобрана земля и формально отдана крестьянам. Первые несколько лет – голод, обман, но мужик верил: пройдёт, отстоится время, обещано и записано. Но прошло 30 лет – и крестьянин, почти ничего не получая от земли, понял: она не моя, она колхозная. Итальянская забастовка: сидят у станков, курят – и ни черта не делают.

*Паспортов не дают.* Дают записки-справки, по которым в городе лишь пускают в “Дом крестьянина” ночевать. Девки выходят фиктивно за военных, получают паспорт – бегут. Или иногда воруют, идут в тюрьму – по выходе из тюрьмы вручают паспорт. Бегут на целину – там принимают всех.

Раньше с га собирали в среднем по 17 ц. Теперь – 4-5, но с крошечных приусадебных участков – баснословные урожаи. “Если перевести на центнеры и га – всем уж Героя Соцтруда дали бы”.

Сеяли раньше на участках даже хлеб – для отвода глаз, чтоб воровать из колхоза пшеничку. Клубы – сараюшки, и то они от иной деревни за 5-6 км. Все ребята из армии в деревню не возвращаются. Девкам – хоть вой. Бегут.

Закон о пенсии. Не очень-то на Вологодчине обрадовались.

– Почему мужчине в городе – 60, а бабе – с 55, а у нас только с 65 и 60? Мы что, долговечнее? – Обида... Да и пенсия полеводу выходит 20–15 руб. Не проживёшь – капля в море.

Что будет с деревней?”

Разгром Хрущёвым русской деревни, авантюра с целиной, о которой Юрий Черниченко писал жуткие вещи в “Литературной газете” (как содрали защитный дёрн, после чего с мест стронулся и *коренной сибиряк*), приведшие к закупке зерна за рубежом (чего отродясь не было в России!) – всё это жгло Викулова изнутри. Он привлёк в журнал *провинциальную Россию* – прозаики, очеркисты публиковали острейшие вещи, задавая всё тот же вопрос: что будет с деревней, а соответственно, и с самой Россией?

Виктор Астафьев, Евгений Носов, Валентин Распутин с повестями “Последний срок” и “Живи и помни”, Василий Белов, Сергей Залыгин, Виктор Лихоносов с повестью “Осень в Тамани”, Гавриил Троепольский с повестью “Белый Бим Чёрное ухо”, Василий Шукшин с рассказами и киноповестью “Калина красная”, Юрий Казаков, Владимир Крупин, Виктор Потанин, Владимир Солоухин, Георгий Семёнов, Владимир Тендряков, Сергей Ермолинский с повестью “Пещерный человек”, Олег Куваев с повестью “Территория”, поэты Владимир Соколов, Анатолий Передреев, Анатолий Жигулин, очеркисты Олег Волков, Леонид Иванов – все они появились на страницах “Нашего современника” в конце 60-х – начале 70-х годов. Журнал обрёл статью и суть. Бывшие авторы “Нового мира”, забыв все “нестроения”, ринулись в “Наш современник”, включая таких “новомировцев”, как Игорь Дедков и Алексей Кондратович. В это же время на страницах журнала печатались произведения из наследия Михаила Булгакова и Андрея Платонова, а для “лёгкого чтения” читателю предлагались переводные детективы Джеймса Хедли Чейза и Рекса Стаута. Журнал стали рвать из рук.

Кстати говоря, Анатолий Передреев на короткое время возглавил при Викулове отдел поэзии. Пробыл он там, впрочем, недолго. После нескольких столкновений с главным редактором и выяснения полного несовпадения поэтических вкусов положил заявление об уходе на стол.

... На публикацию кожиновской статьи о Соколове не мог не откликнуться Евтушенко. Он и откликнулся в “Комсомольской правде” статьёй “Поэт и его дорога”. Подспудную обиду невозможно было не заметить: у него лично “отбирают” товарища,



“Кожинов подсаживал на пьедестал главы школы поэта Владимира Соколова, конечно, не по просьбе поэта, в таком пьедестале не нуждающегося, о чём без обиняков говорят сами его стихи. Однако Марченко пытается доказать не иллюзорность такого пьедестала, а иллюзорность самой поэтической репутации одного из наших лучших поэтов. Поэт, собственно, забыт со всеми своими поисками, болью, а его стихи становятся в руках одного критика лишь средством что-то доказать другому критику”.

Кожинов писал об отсутствии какой бы то ни было “школы Соколова”, цитируя его же строки: “Нет школ никаких. Только совесть да кем-то завещанный дар...” – Евтушенко приписывал Кожинову некую “школу”, да ещё и “подсаживание на пьедестал”, чего самому Вадиму Валериановичу в страшном сне бы не приснилось. “Поэт забыт” – это у Кожинова, чья статья о творческом мире Соколова до сих пор остаётся лучшей из написанных!... Впрочем, удивляться не приходится.

Евтушенко точила обида. Публика по-прежнему приходила на его выступления, но ему этого было мало. Он уже не был “первым и единственным”, и это медленное “сползание с пьедестала” становилось для него невыносимым. На одном из вечеров в Лужниках в это же время он буквально вопил в зал: “Сейчас не ходят слушать стихи! Сейчас уединяются с поэтическими книжечками под одеялом! Это ханжество!!!”

Кожинову было не до этого. Он делал своё дело. Статья о Соколове, возможно, должна была стать частью целой книги о поэте, но она так и осталась ненаписанной. Сам Соколов в это время наслаждался чтением кожиновских статей “Фет и “эстетство” – совершенно новаторским прочтением и анализом поэзии Фета, “О поэтической эпохе 1850-х годов” – о том, что эта эпоха стала настоящей эпохой лирической поэзии, “Смена стилей и классическая традиция”.

Классическую и современную поэзию Кожинов оценивал как единое целое – во взаимных зеркалах. В это же время на пороге его заваленного книгами кабинета появлялись новые люди, становившиеся близкими друзьями и соратниками.

*(продолжение следует)*